

ВАСИЛИЙ КАЗАНСКИЙ
ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ



**ВАСИЛИЙ
КАЗАНСКИЙ**



лесные дороги

рассказы
повесть

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

Художник ЭРНЕСТ АРОНОВ

Казанский В. И.
К 14 **Лесные дороги: Рассказы, повесть. — М.: Советский писатель, 1986.—288 с.**

Пятую книгу одного из старейших советских писателей, автора романа в стихах «Сквозь годы», составили: повесть «Ездовой» — о первой мировой войне и рассказы — об охоте, о природе, о русском характере.

К $\frac{4702010200-101}{083(02)-86}$ 57—86

ББК 84. Р 7

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

рассказы



ОТШЕЛЬНИК

Весна была добрая, правильная. К двадцатым числам апреля, когда мы с Василием Ивановичем Сениным начали весеннюю охоту, от зимних снегов мало что осталось в лесу, а поля и вовсе были голые. Даже в ельниках земля стала пегой: еще лежали где большие, где малые площадки снега, занастовевшего и сероватого от опавшей хвои. Повсюду меж ними темнели кругловины, полосы и другие фигуры проталин, покрытые слежавшимися слоями прошлогодних бурых листьев.

«Начали весеннюю охоту» — это неточно, вернее сказать — «начали хождение в леса с ружьями». Ходить-то мы ходили, а толку не было. Побывали на току в Рябуках, а глухарей ни слуху ни духу, — видно, крестовские (из деревни Крестовой) охотнички разгромили ток «досрочно». Ночевали мы разок на моем заветном току у Кобыльского вала — и там пусто; это уж конечно руку приложил Тимофей Васильев, напарник Сенина по охоте на куницу и с флажками на лисиц. При нем Василий Иванович спросил у меня, где мой ток, а я просто и объяснил — по давней дружбе (мы с Сениным друг от друга ничего не скрывали).

— Ох, Тимошка — прохвостина бесстыжая! — клял напарника Сенин. — Он ведь сроку ждать не будет, а пойдет на чужой ток да и выбьет до последнего! Он это, он!

И еще раз стаскались мы в Рябуки — Василий Иванович воображал: авось, мол, мошники разогнанные «скопятся» да и станут вылетать. Но ни одного там не оказалось, только две глухарки перелетывали, стонали. Идучи из Рябуков, Василий Иванович рассудил:

— Что будем делать, тезка? По-моему, пойдем-ка искать новенького, а проще сказать — давнего. Хорош бывал ток на Конищенских краях за Синеплитскими озерами, хорош был, да изнестился¹. Назад лет десять мошники бросили там петь. А может, одумались? Место для них горазд складное: и лес подходящий, и рядом болото доброе — там журавины богатые, да люди туда не ходят по клюкву — далеко от деревень, ну как медведь задерет — никто и не узнает. Нам от деревни нашей верст семь, так ведь ты, Василий Иванович, ради птюшек из Москвы вон в какую даль примчался, так тебе семь-то верст ништо.

Василий Иванович иной раз любил подтрунить надо мной. Как бы ни было, мы отправлялись искать удачи на Конищину.

Я не знаю времени в году, когда природа была бы мне не мила. И не только осени яркое увяданье, но и те дни, когда дали затуманены сеткой дождя, когда по уже голым веточкам берез и осин тающий туман развешивает капли — алмазные сережки — и когда мокрая земля и серое небо беспечально дремлют в нерушимом покое.

Дорог мне апрель... Его труд подготовки к весне... Он усердно убирает с земли снежный покров, гонит прочь льды с рек и озер, выращивает первые цветы — да какие! — лиловые подснежники, удивительно нежные, и еще более удивительные своей стойкостью — ведь мороз бывает еще! Апрель и готовит, и устраивает птичьих свадь-

¹ Из н и т и т ь с я — сойти на нет (далее смотри словарь местных выражений и охотничьих терминов).

бы, и среди них красивые и полные неудержимым буйством жизни тетеревиные тока и хоть негромкие, но мощные тока глухарей. И ведь в апреле начинаются брачные полеты бекасов и вальдшнепиная тяга. А все это и есть сама жизнь!

Дорог мне апрель! Идешь полями и лесами и видишь, чувствуешь обновление во всем — и в стукотне дятла, заменяющей ему брачную песню, и в звоне синиц... и вдруг услышишь: трю-трю... трю-трю... да это же зяблик прилетел; а он как грянет громогласно и весело, словно сыграет встречный туш весне!

То ли воздух, наполненный озоном, то ли привычка многих, многих лет дает эту радость, только очень уж дорого брести где по дорожной грязи, а где уже и посуху на полевом бугре, брести где в лесу вцело по снегу чуть не по колено, а где уже по воде тоже по колено. Брести так неохотнику не понравится, да и охотнику-то не каждому по душе, а мне только дай! Одолевали мы с Василием Ивановичем семь верст, хотя и не до небес, как в поговорке, но все лесом — это уж как поговорка. Шли... Я что-то не больно надеялся на удачу, а все равно хорошо: апрель, разлив, солнце! Правда, пока шли по бездорожью, апрель и разлив никуда не девались, но солнце принялось прятаться за тучи да и вовсе потерялось за синевато-серой пеленой...

Пересекли мы порядочное моховое болото, взобрались на кражик.

— Вот тебе и Конищенские края, — сказал Василий Иванович. — Ток бывал тут рядом. А ночевать будем не под елкой, а под крышей.

Он нашел в крупном старом ельнике еле угадываемую тропинку, и пришли мы по ней к маленькой ветхой избенке, собранной из мелких бревешек, а ростом с деревенскую баньку, только попросторней. Вошли мы, осмотрели ее внутри, убедились: ночевать можно. Потолок сохранился, уцелели и три стекла из четырех в единствен-

ном окошке. Русская печь, сложенная из глины, была здесь, конечно, много меньше обычной деревенской, но во всем прочем законная: стояла на бревенчатом опечье, имела шесток с загнетком, чело, заслонку. Была и правильная на вид глиняная труба с задвижкой-вьюшкой. Потянул Сенин задвижку, она немного вышла наружу, засыпанная глиняной крошкой, и — стоп. Должно быть, на нее навалились крупные обломки разваливающейся трубы. Сенин взялся за топор.

— Нам с тобой недосуг ремонтом заниматься, истопим по-черному¹. Давай-ка, покуда время позволяет, дровишек заготовим.

Натаскали мы некрупных сухостойных сосенок, порубили их топором.

— Ну теперь мешкать некогда. Пойдем-ка на подслух — пора!

Повел меня Сенин краем над болотом, потом круто повернул в лес. Пройдя метров полтора, вышли мы к суболоти со старым, но невысоким сосняком — этак метров двенадцати — пятнадцати высотой.

— Видишь, тезка, еловый мысок врезался в суболоть? Дойди туда. Там место начетное: оттуда все на свете услышишь — все подлеты. А я левой уйду — вон хохолок повыше, островинка небольшенькая. Как свистну, приходи сюда, на это место, где стоим.

Нашлась на мысу толстая валежина, и я уселся на ней. Стал слушать, а сам все про избу думал: кто и за чем построил ее в этом диком, вот уже подлинно медвежьем углу? Ну, Сенин-то, конечно, знает, расскажет...

А вечер стал неласковый, хмурый. Еще когда мы шли сюда, летали порывы ветра несильные, а теперь лес принимался шуметь все сердитее, все тяжелее — не очень-то расслышишь подлеты глухарей, да и будут ли они? Ветер-то северо-восточный, пожалуй, самый нелюбимый у них.

¹ По-черному — то есть без трубы.

Стали падать снежинки, сперва редкие, потом гуще да гуще... И повалил настоящий снег. Вот тебе раз! А мы-то шли семь верст немереных, а километров — так, пожалуй, и все восемь! Шли, надеялись на добрый тихий вечер. Вот и вышло по сенинской поговорке, что «у бога всего много», уж хватило для нас и ветра, и снегопада! Да, ждать теперь нечего. «Нет среди глухарей дураков, чтобы в этакую погоду петь да с бабами хороводиться», — так говаривал мой друг.

А снег валил и валил, да еще хлопьями, валил сырой, лепился на деревья, на ветви и хвою сосен. Встал я с валежины, отошел под густую сосновую крону, но ветер гнал снег вкось и старался залепить и меня. Заметно темнело — и не только из-за туч, конечно, а пора пришла. Поглядывал я на часы: половина девятого... вот и сорок минут... За какие-нибудь полчаса насыпало настоящую порошу.

Свист Сенина я еле услышал — до того разгулялся ветер.

— Зима пришла, Василий Иванович! — Он тоже был весь в снегу.

— Ладно. Пошли ночевать. Утро вечера мудренее, — философски ответил он. — У бога всего много; глядишь, хорошенького выдаст. Видишь, снег совсем реже сыплется. А утро будет — только ура. Пойдем-ка печку затопим, погреемся — вот и радость.

Пошли, Сенин передом, я сзади по его печатному следу. Вон и избенка наша на снегу чернеется, а крыша белая. И лапы елей белые.

— Стой! Никак ктой-то еще в нашу квартиру пришел. Вон след.

Со стороны, да еще в сумерках, не понть было, что за след, — ну да небось охотничек вроде нас проявился.

А когда подошли мы вплотную к следу, было чему дивиться: из-за избенки, у самого ее угла и мимо двери,

шел след немалого медведя. У двери зверь, видно, постоял. Василий Иванович расхохотался:

— Ну и ну! Знать, помнит зверь свято место!

— А почему оно свято?

— Да как же! Здесь один конищенский мужичок душу спасал, святости набирался. Задумал отшельничать— вот и построил изобку.

— Ну что ты! Болтаешь! Какие тут отшельники?

— А ничего и не болтаю. Правду истинную говорю. Жил здесь Филя, ну Филипп Лукин, — всем известно было. Вот печку затопим, расскажу.

Ничего невозможного не было в том, что медведь прошел мимо старой, давно брошенной людьми избы. Удивляло только, что медведь прошел буквально «по касательной» к углу избы да еще постоял у двери после того, как мы натоптали тут много человеческих следов, таская дрова и рубя их. Ведь не могло быть, что очень легкая порошка вовсе заглушила запах наших следов. Но Сенин пояснил:

— Про Филю говорили, будто он вовсе приручил зверье, будто медведей из рук хлебушком угощал, чисто тебе преподобный Сергей! Видал картинки? Может, этот медведь из его приятелей — ну и навестил!

Василий Иванович посмеивался, не верил, конечно, в Филиных мишек. Затопили мы печь, дым, разумеется, валил в избу, и можно было терпеть, только сидя на полу поближе к полуоткрытой двери. Сунули мы пироги на заслонку, а ее — на шесток: сколько-нибудь согреются. Сунули в печь чайник, а воду зачерпнули в болотине у самого края.

— Был тут у отшельника ключ, да сруб сгнил, да и земля обвалилась.

Чем больше набиралось в печке жару, тем терпимее становилось насчет дыма — он шел выше, и мы смогли

перебраться с пола на нары между печкой и стеной.

Сидя на нарах — а мы их застелили еловым лапником — и ожидая, когда вскипит чайник, да и за чаепитием, Сенин рассказывал про отшельника.

— ...В деревне Конищах был крестьянин Филипп Мируныч Лукин. Рос он в зажиточной семье, когда отделился от старших, тоже небедно жил. От матери-знахарки набрался он ее премудрости: заговаривал рожу, чесотку, наросты на суставах, да мало ли еще! Вот, к примеру, насчет суставов: Филипп объяснял, что надо найти на земле косточку или обломок куриной ли, бараньей ли, коровьей ли — все равно и три раза на восходе прикладывать к больному месту ее с наговором (слова он заставлял заучить), а потом класть обратно, точно как лежала. Помогал он людям и никакой платы не требовал; люди сами старались побольше заплатить — вот и жил Филипп с семейством в достатке. Жена у него была наша, — сказал Сенин, — заозерская. Была она славная женщина — и добрая, и хозяйка, и красивая, а каких хороших детей четверых ему родила!

Все бы ладно в семье, да стал хозяин больно задумчив, хотя еще молодой был — лет около тридцати. С чего бы ему тосковать, задумываться, молчуном становиться? Говорили в Конищах, что братова смерть его жизнь затемнила. Не зря шел в народе слух, будто Филипп оттого угрюм стал, что его младший брат повесился, мол, Филя себя винил, что недоглядел, не помог брату душу успокоить, мол, до такого страшного греха не допустил бы брата, кабы озаботился, помог бы. Мало он говорил после этой беды, а если и говорил когда с женой или с близким другом — больше о грехах человеческих: много, мол, греха среди людей, а свою душу надо во что бы ни стало спасать. Поговорит да и задумается, молчит... Марфе-то Кузьминишне, жене его, даже страшно становилось. Наконец он признался ей: уйду. А куда? Где молитва ближе к богу — туда. В пустыню.

«Ты подумай, — говорил Филипп жене, — разве в деревне проживешь праведно? То с соседями ссора, то чьи-то ребята морковь с огорода воруют, то чужую корову застал на капусте, то пастух твоей скотине чуть не перешиб хребтину! А то чья-то кошка цыплет тебя таскает. То луга-покос неправильно делят. Неприятности, брань, чуть не до драки! И в семье не без шума: я Ваньку за кобылой послал — сено возить, а ты, Марфуша, перехватила его, послала своей сестрице на сушке помогать. А то колбаса пропала — кто из ребят грешен? Что ни день, что ни день — все грехи, грехи... Да перед Мишей-покойничком я виноват. Как иду мимо евонной избы, так в сердце и ударит — думаю: чего-то я проворонил, прозевал... В монастырь ушел бы, а где они ноне, монастыри; да ведь и там грехи — и пьянство, и с богомолками монахи... Разве лукавый через стену в монастырь не лазил? Ох, монахи, — «одежа черна, а плоть задорна»!

«Ну как же быть-то теперь? — Марфа говорит, а сама в три ручья слезы льет. — Ох, люди-то все живут... — Дух баба переведет и опять в рев. — Люди... живут... хорошие... есть... не уходят...»

А Филиппу и жалко ее, и от своей мечты никак не оторваться:

«В пустыню уйду недалеко. Какая наша пустыня? Лес темный. Насмотрел я себе местечко, куда конищенцы не ходят, а чужим и вовсе не попасть, где и лесничину¹ с лесниками делать нечего: дорог нету, болота, суболоти, бугры да горы... А ты мне помоги изобку маленьку поставить. Да харчишки кой-какие приносить будешь, а я есть мало буду, тебя не утруждать бы ношами. И работать буду: сапоги на всю семью чинить, сани вязать буду, а ты продавать. А кои болящи придут за помощью — ты их ко мне веди, так за мое дело, кто в силе, тебе помогут косить, картошку брать, хлеб жать...»

¹ Лесничин — лесничий (местное, валдайско-новгородское).

Так ли все было, кто ж их знает, а только Марфа мне лично говорила. И еще рассказала, как строили тайком, то по ночам, то вроде на три дня в дальние гости уехали: Филя сам по плотницкой знал хорошо. Понимал, что стройку из настоящего лесу вдвоем с бабой не осият, вот видишь, из каких бревешек жилье смастерил. Ну дранку на крышу, гвоздье кровельно, раму — это все по ночам на кобылу навешают и везут. Трудов много положили тут Филипп и Марфа. Она сказывала: «Каждое-то бревнышко моими горячими слезами обмыто. Ведь в деревне по дому-то вся работа на мне, — говорит, — и ребятам хлеба напечь, щей наварить надо; а косьба, а жатва, а картошку убирать! Сколь ни говори, а всего не скажешь. День в поле да по дому, а ночью ну-ка восемь верст идешь да бревна пилишь, да таскаешь на стройке, да глину потом месишь для печи, — о господи!» Бывало, говорит Марфуша, а сама слезами обливается...

Свой рассказ Василий Иванович заключил так:

— Навряд Филя в праведники преподобные, божественные вскоре мог попасть, а вот Марфа — так верно святая мученица.

— Ну что же, Филипп-то попользовался всеми этими трудами?

— А как же! Лет десяток аль вроде того жил он тут. Да какая уж праведность, коли жена каждую неделю побывает да и заночует. Сперва жил в тайности, ну а потом народ, конечно, узнал. Вышло-то, что он как-никак по своей деревне, по Конищам значится жителем, а в колхозе не работает. Но только и деревенские, и начальство его не трогало — считали, вроде мужик умом повредился, чего с такого спросишь? Ну, по-моему, нисколько Филя не был каким-то неумным. Нет! Просто божественность на него напала. Я сам не раз у него тут ночевал, как на ток мошничий приходил. Книг у него святых много было: и евангелие, и жития угодников и еще каких-то подобных куча. И всё он читал. А как Марфа от

этакой хорошей жизни побаливать
ню ходил, за нее работал. А то ребята, что они? Ни два,
ни полтора — кои еще школьники, а старшему лет две-
надцать стало, так по-деревенски кой-какую работу мож-
но с такого спросить, да вот кой-какая не выручит. Ну
под конец старшие вовсе подросли. Так он бросил ходить
в деревню работать.

— Ну и как же? Совсем с семьей разошелся, что ли?

— Зачем разошелся? Сам он, правда, в деревне пе-
рестал бывать, только на праздники, да и то ненадолго.
Он ведь вина ни капли не стал принимать, как в лес
ушел. Выходит, ему и в праздники дома нечего делать.
Мало бывал, так ведь к нему в лес ходили семейные свои,
харчи носили, да и так проводывали — и Марфа, и стар-
ший сын Петруха, и второй, Серега, — парни хорошо вы-
ручали мать. То картошку несли, то капусту, то хлеба, а
то мяска. Ребята вовсе освободили мать от мешков в кон-
це. А как время подошло Петру идти в армию, так Фи-
липп дома жил несколько дней, провожал сына в солда-
ты...

Замолчал Сенин, задумался. Дрова в печке долго по-
правлял палкой.

— Чего же не договариваешь? — спросил я. — Куда
же Филипп в конце концов девался?

— Эх... — словно нехотя ответил мой друг. — Извест-
но, куда люди деваются — в земельку...

— А где умер Филипп? Похоронен где? Ему, пожа-
луй, здесь подошло бы лежать.

Василий Иванович долго помешивал головешки и
угли. В избе сделалось тепло, даже жарко, и дым шел
лишь под потолком да через дверь.

— Какой там здесь... Далеконько лег в могилу, да ее
и не сыщешь. — Василий Иванович свернул сигарку, при-
курил от уголька. — Петруха-то, сын-то Филин, аккурат в
солдатах был, как война началась, сразу в бои пошел.
Письмишко от него пришло, когда картошку начали ко-

пать. А после покрова фронт уж и от нас недалеко придвинулся. Тут вскоре после Октябрьских праздников пришла на Петруху похоронная. Вот тогда Филипп показал себя. В район отправился, в военкомат: люди, мол, воюют, а что же мне повестки нет? А ему ответ: вы, мол, с прошлого года, как вам пятьдесят, с учета сняты. Это все Марфа рассказывала — она с ним в район ходила. Говорила, как обрадовалась, что ему отказ, какого отговаривала, слезы точила. Так не остановила мужа. «Подумай, — просила его, — Петю убили, а ведь и Серегу того и гляди заберут. С кем я останусь — с Нюшкой да с Клашкой, да и те девчонки малые! Филя, рódный, останься дома, останься...» Это мне сама Марфа рассказывала, так рассказывала и то слезами разливалась. А он там, в военкомате же, доказывал: какая разница 50 лет или 51 год? Сын убитый, так, может, я за то хоть двоих немцев убью. Добился, допросился. Взяли. А он здоровый был, сильнуший — так его в строй... Не особо долго повоевал, ну поболее года... — Помолчав, Сенин добавил: — А Петруха-то в плену был, да вскоре убежал. Всю войну прошел, ранен раза два аль три. А теперь он в своей деревне, в Конищах, колхозный бригадир... Ну чего ж, все головешки прогорели. — И Сенин встал, закрыл печку заслонкой. — Пойдем-ка поглядим погоду.

Вышли мы из избы — благодать! На небе все звезды наперечет. Тихо, тихо — ветер не шевельнет еловые лапы. А с крыши течет, — значит, пороша живо слиняет. Закрыли мы дверь, разулись, легли...

— Ну, радуйся, москвич! А то расстроился: зима вернулась! Коли есть тут мошники на току — во как запоят на зорьке! Давай-ка полежим, подремлем сколь-нибудь. Только, чур, не проспаты!

Василий Иванович как лег, так тут же и заснул, а я долго не мог успокоиться, все думал о хозяине нашего пристанища. С большой совестью был человек. Однако

как ему не жаль было жену, добрую и красивую Марфу Кузьминишну? Где ж его совесть в этом вопросе? Отшельник! Вздумал душу спасти, как «древле» святые спасались! И не догадывался, что затеял дело никчемное... А все же человек был с душой!.. — думал я, передумывал и все же задремал — взяла свое усталость.

А Василий Иванович не проспал, разбудил меня. В печке угля давно погасли, а все же было в избе тепло, печка была горячая.

— Погляди-ка на часы, — и Сенин зажег спичку. Было без десяти минут три часа. — Пора идти, — заявил он. — Обувайся скорей.

Когда мы вышли, небо заметно начало белеть на востоке. Четко чернели на этом фоне богато охвоенные вершины старых елей.

— Слушай! — Сенин поднял руку в направлении недалекого лога и березовой болотины. — Слышишь? Твой приятель циркает.

Да, неподалеку тянул вальдшнеп, «мой приятель», поскольку я люблю тягу, и дорог мне он, чуть ли не презираемый тезкой за малый рост. А ведь и Филипп также мог слышать здесь вальдшнепа и хохот куропата на Синеплитском болоте!..

— Ну, задумался! — недовольно заметил Сенин. — Некогда мешкать! Ты тихонько прокрадись на ту еловую носовину. Оттуда обязательно услышишь, конечно, если мошники одумались да летают сюда опять.

Сам Василий Иванович отправился к своей островинке в суболоти.

Я шел к еловому мысу осторожно, стараясь сучком не треснуть. Шагов через 30 — 50 останавливался, прислушивался. И когда был уже на мысу, слышно стало: дэб... дэбэ... дэбэ, дэбэ — сперва с перемолчками. Но вот глухарь разошелся: дэбэ-дэбэ-дэбэ, дэбэ-дэбэ — и пустил россыпь, а за нею зашипел-заскрежетал, сказал песню,

помолчал, повторил и почти без перемолчки пошел катать за песней песню...

Было еще темновато, торопиться с подходом не стоило... да и как-то не хотелось... Главное, не покидали меня мысли об «отшельнике», о его совести... Как же измучило этого человека самоубийство брата!.. Василий Иванович обронил, что был слух не то о растрате, получившейся у Михаила Лукина, работавшего продавцом в деревенской лавке, не то о краже у него порядочных денег... А Филипп не знал, что младшего брата ждет суд, тюрьма или лагерь исправительный... Да еще положение обострялось тем, что Миша хотел жениться... Хорошая девушка ждала его... Выходило, он обманул ее.

Я стоял, слышал пенье глухаря, а сам перебирал в памяти рассказанное Сениным. И это был первый раз в моей жизни, когда глухарь, горячо увлеченный своей песнью, не мог увлечь меня, и я как бы забыл, что нужно же подходить к нему — три шага под песню, три шага под песню... и еще, и еще, и еще... Утро шло своим ходом, становилось светлее, и, очевидно, подойдя на законное расстояние — шагов на 30, я уже разгляжу певца на неслишком высокой сосне суболоти... Я представил себе, как русобородый плечистый мужик, совестливый, добрый, думает о страшной смерти двадцатипятилетнего брата и как винит себя — «недоглядел»...

Мои мысли прервал выстрел Василия Ивановича. И этот выстрел заставил меня вспомнить, что должен я оправдать наш поход в такую даль! И я начал, что называется, подсказывать к глухарю, но все как-то не мог сосредоточиться на этом и, прошагав под пять песен, наступил на толстый гнилой сук: я видел эту гнилушку и мог обойти сук, но стал на него всей тяжестью. Уже не под песню он треснул, и глухарь замолчал. И долго молчал, минут, пожалуй, пятнадцать.

А я стоял и думал, как Филипп был в отчаянии, становился все задумчивее, все угрюмее, целых полгода